

Александр БАЛТИН

## ХРОНИКА МАЛЕНЬКОЙ ЖИЗНИ

### Рассказ

Утки плавали на пруду, их кормили, стоя на бетонных бортиках.

Лодки, сдававшие напрокат, привлекали внимание мальчика, и отец, с которым гуляли по скверу ЦТСА, решил покатать его; и мальчик, глядя, как папа гребет, вглядывался в расколы и разломы воды, игравшие на июльском солнце.

— Па, кто такой Аид?

— Аид? Почему ты спрашиваешь?

— Встретил где-то...

Мальчик недавно стал читать.

— Аид, сынок, это у древних греков царь подземного мира.

— Подземного? Как это, па?

Селезень, чья шея переливается изумрудно, проплывает близко от борта лодки.

— Ну у греков были такие боги... Три главных брата: Зевс, самый главный, Посейдон, бог морей, и Аид — подземного царства. То есть — царства мертвых...

Вода пруда переливается, оливково чернея.

— А боги бывают, пап?

— Что ты, мальчик, это просто человеческие фантазии...

Лодка тыкается в берег, пора выходить, время закончилось.

Оно всегда заканчивается, но мальчик не знает еще об этом; он думает, что будет вечно жить с папой и мамой, в большой коммунальной квартире, в огромном доме...

Выходят из лодки.

Рельеф сквера красив, и папа с сыном, разговаривая, вероятно, выходят в пространство города, минуют огромный, в форме звезды исполненный театр Советской армии, и вдоль трамвайных линий идут и идут к этому дому: старинной постройки, массивному, где живут на первом этаже, так что можно вылезти прямо во двор.

Решетки вделали потом...

Пока отец и сын проходят стадион, словно вдвинутый в глубину между домами, оставляют позади старинное здание, красивое и таинственное.

Трамвайная развилка и — церковь, красным взмывом поднимающаяся в высоту летнего воздуха.

Но церковь на тот момент почти под запретом.

---

Александр Львович Балтин родился в Москве в 1967 году. Поэт, прозаик, литературный критик. Автор 85 книг (включая Собрание сочинений в пяти томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 150 изданиях России, Украины, Беларуси, Башкортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Франции, Дании, Испании, Израиля, Эстонии, Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США.

Подземный переход, станция метро, оставшаяся позади, и — дом желтого цвета, серьезной массивности, кажущийся насупленным, но такой надежный...

Узкий перешеек между ним и другими — гораздо более низкими, небольшой разлив двора с простенькой площадкой: сплошной круг карусели, невысокая горка...

Мама ждет.

Обеденное время...

Коридор многоколенчат, живут в квартире три семьи, вернее — две, и тихая, одинокая алкоголичка Машка, работающая на бумажной фабрике, дарит порой мальчишкам то карандаши, то еще какую-то мелочь...

Телефон на тумбочке проклеен лентой.

Кухня огромна, колонка висит, белея, и черная пасть ее со вспыхивающей синеватой короной огня пугала мальчишку, когда был совсем маленьким.

— Как погуляли? — мама как раз несет из кухни супницу, папа открывает ей дверь.

— Хорошо, по-моему. Правда, сынок?

— Правда, па...

— Мойте руки...

Они моют их в ванной, вбок продолжающей кухню, они моют их, вполне счастливые, в выходной, предчувствуя вкусный мамин обед...

В первой комнате сидят за массивным столом, покрытым скатертью, все чинно, и двор, живущий за окнами, словно плещется плазмой солнца и детской игры.

Огромный буфет смотрит в реальность насупленно.

Он огромен, его венчает своеобразный фронтон, и не перечесть всех завитушек и украшений, плетущихся по поверхности буфета.

Он принадлежал некогда Матовой Александре Константиновне, солистке Большого театра, Заслуженной артистке...

Как пианино — черное и старинное, расположенное у соседней стены.

...Матова в 1955 году, когда мама приехала учиться из Калуги, прописала ее у себя. Певица к тому времени потеряла голос, но молодежь ходила к ней, кое-что показать она могла, и среди этой молодежи был отец мальчишки, увлеченно поедающего борщ.

Какая она была, Матова?

Напрочь лишенная тщеславия, не позаботившаяся о посмертной славе...

Мальчишка не знает об этом...

Мама рассказывала уже взрослому своему сыну...

— Был вечер, собрались гости, Александра Константиновна лежала в соседней комнате: тяжело было ходить. Обычный милый вечер.

Гости разошлись, я перемыла посуду, вернулась в комнаты, и... знаешь — будто нечто тяжелое, свинцовое, давящее пронеслось, ворвавшись из другой комнаты, где лежала тетя Саша... Я не сразу решила зайти. Она лежала мертвая.

Мальчишку назвали в честь певицы...

Рассыпаются выходные, разлетаются, отсверкав...

В первую школу Сашу возили на троллейбусе: мал один ездить, а располагалась она в своеобразной низине, меж теснящимися домами, в колоритнейших московских дворах; его возила мама, вела, когда был первоклассником, за руку...

...Будто и сейчас ведет.

Его возили и встречали: мама, работавшая в ТПП СССР, могла отпрашиваться или выходить на полдня (отец — физик, возвращался из НИИ в вечернее время).

Лешка Сазанов — друг еще по детсаду — подбегал:

— Пойдем гонять после уроков?

— А то!

Велосипеды, войнушка, пистолеты...

Память, убывающая с годами, расцветивается суммами полувыведанных подробностей.

Строга ли Надежда Васильевна?

...Стирается лицо первой учительницы, стираются миры уроков, нечто эхом звучит, не позволяя потерять себя окончательно в дебрях столь долго тянущейся, одно-моментно пролетающей жизни.

Олег Скороходов — двоюродный брат Алеши — подходит:

— Ну, вы чего тут?

— Думаем, во что играть будем...

Дребезжат звонки.

Уроки размываются: как не самое интересное...

Детей встречают: всем куда-то ехать надо...

Детей встречают...

Саша сидит у пианино, стараясь одолеть мудреную науку: рука должна как будто держать яблоко, и, отчетливо представляя его, спелое, не знает, как играть, воображая оное в горсти ладони.

Все же пробует.

Учительница ходит на дом, но успехи Саши — скромнее скромного, словно и клавиши, о, чудесные клавиши, покрытые слоновой костью с благородной желтизной (тайное золото), сопротивляются его игре.

Однако ноты завораживают, словно надписи на чужом, недоступном, чуть приоткрывающемся языке (папа шутит: запомни, сынок, твоя сверхзадача — расшифровать язык этрусков)...

Он глядит в эти ноты, видя связки сушеных грибов, великолепные формулы математики, надписи на древесной коре, сложностью превосходящие язык далеких этрусков, потом пробует играть, и — раздается звонок в дверь.

Бежит открывать, и Алеша Сазанов, стоящий в дверях, вопросительно глядит на него:

— Ты что, забыл?

— Я музыку делаю...

— Му-зы-ку... — тянет Алеша, занимающийся спортивной гимнастикой. — А сбачать можешь чего-нибудь?

Вот он — стоит у двери, и Саша, устроившийся на черном, тяжелом, вертящемся стуле, играет — как получается.

Алеша слушает кисло.

— Не пойдешь, значит?

— Может, вечером?

— Ладно, созвонимся давай...

И — не стало Алеши, но и остаться один на один с музыкой не получается...

Совсем уж собрался на двор, и — вдруг мелькнула коричневая обложка: Легенды и мифы Древней Греции.

Кун появился недавно.

...Дерзкие и требовательные, уверенные, что аура героев оправдывает что угодно, спускаются в Аид Тесей и Пейрифой: дерзкие и мощные, уверенные в силе своей, садятся на каменные углубления, чтобы остаться там надолго, надолго...

Розоватое свечение мрамора: храмы, сквозящие тотальной белизной.

Мальчик один раз был с тетей в русской церкви, насколько же поразил контраст, хотя греческих храмов и не видел, но представлял так живо...

Геркулес, спускающийся в недра Аида, влекущий на свет Цербера, бедный зверь, ослепленный дневным светом, роняющий зеленые горошины слюны...

Жуток взгляд Медузы-горгоны, шевелятся сонные змеи, но отражения медузы в щите спасает солнечного, на сандалиях бога летящего героя.

Сколько всего!

Хотелось вобрать сразу, сразу переосмыслить, будто и мир изменится, расцветет новыми красками, сияя, великолепный...

Мама пришла — узнавал по тому, как открывается дверь.

— Что ты не гуляешь, Сашк? Ребята ждут, наверно...

— Я зачитался, ма...

Книжка съедает время.

Мальчик не знает о нем ничего, сжимающемся и упругом, длинном и пролетающем мгновенно.

Он бежит на улицу...

Пыльный асфальт мая сереет обыденно, но золото листвы уже насыщено летом — скоро на дачу, под Калугу, к родне.

Саша выбегает во двор, но площадка пуста, и... где теперь искать своих, а?

Железная гулкая лесенка дребезжит под ногами — вела в соседний двор, где стоял дом Алеши...

Вот же — Сазанов на самокате пролетает...

— А ты чего без? — притормаживает.

— Забыл...

— Совсем ты со своей музыкой!

...У меня нет пока своей, Леш...

Возвращаться?

Ну его!

— Я и так тебя обгону.

— Давай!

Сазанов мчится по двору, мелькают полосы света и тени, зелень словно слегка покачивается, плотно облепив ветви, и Саша, разгоняясь так, что в боку болит, мчится за ним, летящим...

...Они упираются в голенастые ноги огромной птицы, мудро смотрящей на них с высоты...

Клюв ее огромен, и, кажется, любой удар разнесет бедную Сашину голову.

Но птица вовсе не угрожает, просто смотрит с высоты: и в глазах ее мерцают ум, даже мудрость... лукавство.

Горазд был на выдумки, а догнал ли Алешу?

Или улетел тот на своем стремительном самокате времен — улетел в никуда?

Фонтан в центре одного из дворов белел массивно, и два медвежонка, жавшиеся к медведице в центре, казались ручными и милыми.

Нет линейного движения жизни, организованной фрагментарной мозаикой: это не воспоминания, хотя и они, это жизнь сама, лепящаяся из черточек, красок, мазков неизвестного живописца, всей суммы, даже суммы сумм, которую познаешь всю своей явью.

Взаимоперетекающие процессы, бесконечная алхимическая возгонка, и то, что алхимики объясняли сложное через еще более сложное — логично, учитывая квантовую перенасыщенность жизни.

На Птичку — великолепный Птичий рынок — ехать интересно, начиная от предвкушения, ибо предвкушение счастья вполне способно тягаться с накатами оного.

Метро гудит, заливая пестрой плазмой жизни сознание; оно гудит, неумное, постоянное, и можно гадать, кому вот та массивная тетка везет сверток или о чем просит, дергая за руку, малыш маму...

Можно гадать.

Потом, сияя аквариумами, расступаются, словно ожидая нового мальчишку, ряды Птичьего рынка.

Интересуют только рыбки, аквариум готов, необходимо живое и пестрое наполнение.

Глуповато глядят на действительность сквозь выпуклую пленку глаз телескопы.

Треугольники скалярий проплывают косо.

Оранжевые меченосцы никому не угрожают мечами своих хвостов.

— Два телескопчика, пожалуйста, — говорит мама, и плотный, с корытообразным лицом торговец вылавливает их, гоня сачком, пересаживает в банку.

— Ну, сказали еще двух скалярий можно?

— Да, мам. А сомика?

— Не тесно им будет?

— Но сомик же необходим!

Мама улыбается.

Солнце тоже.

Покупают рыбок, потом еще траву, корм...

Мальчишка держит банку так, будто это чаша Грааля, о которой он не читал еще, но все впереди, впереди...

Они едут домой.

Па, когда ты вернешься сегодня, хочется же показать!

Аквариум установлен в простенки между двумя окнами второй комнаты; а над кроватью мальчишки висит пестрая карта мира, и, засыпая, он думает: не осыпались бы осенние листья стран.

Пока они держатся, мальчик — на древе детства, опадание будет происходить постепенно, потом...

— Надежда Васильевна! Смотрите, какой листок! — Ащеульникова (завораживала звукопись фамилии) бежит к учительнице, гордясь и собой, и листком...

В сквере напротив кинотеатра «Россия» собирают классом листву, будут делать гербарии, и она шуршит, огненно-цветная, под ногами, рождая сонмы маленьких ассоциаций...

Каждый листок — как своеобразная карта, и не счесть прожилок и ответвлений, точек и крапинок, будто жар-птицы разроняли перья свои...

— Смотри, Леш, что за страна?

— Аквалантия, — смеется Сазанов...

Собираются листья.

Разнообразные, каждый со своим лицом дома строго наблюдают за детворой.

Время не желает двигаться линейно: в разрывах возникают новые куплеты жизни.

Правилось спускаться по грохочущей железной лесенке, попадая из двора в другой, покидая свой, но ненадолго, нет-нет...

Бежал, зажав пяточок в ладони, круглый медный пяточок, от которого плоть руки пахла своеобразно; бежал в булочную, чей скудный ассортимент воспринимался нормальной, покупал песочную полоску с вареньем, чтобы съесть, торопясь получить сладость на ходу, во время краткого возвращения, минуя колоритную овощную лавку, где бочка, наполненная солеными огурцами, обросла мхом, а картофель ссыпали в специальный желоб: чтобы выкатился, прогрохотав, в сумку...

Папа вернулся — мальчик тянул скорее: показать аквариум...

Папа шел, улыбаясь, едва успев раздеться, и смотрел не столько на рыб, сколько... на почти овеществленные восторги сына своего, рассказывавшего о телескопах и скаляриях, о щедром неистовстве Птичьего рынка, одарившего такой красотою.

Машка, покачиваясь, идет по коридору на кухню, и мальчишка, выскочивший зачем-то, натывается на нее.

— Ой, Сашк... Сейчас я тебе карандашей подарю.

Он стоит, ждет...

Она, вернувшись в комнату, выходит, протягивает ему несколько цветных.

Прекрасных, ведь можно будет изображать радужных птиц и зверей...

Он благодарит, возвращается к себе, достает бумагу...

Оживают, расцветая, жители фантастического зоопарка: из арфы слона прорастает древо дельфина...

Нет, больно странно — скомканный лист летит под стол.

На другом разрастается жираф, но ужасно хочется совместить его с кем-то, и...

В окошко стучит Алеша: выходи!

Саша, оставив бумагу, выходит...

Дворы, спутанные праздничными гирляндами детства.

...Собирались в Анапу, где будут жить в частном секторе, где счастье, захлестывая, гарантированно продлится месяц...

Собирались, проверяли чемоданы, что-то перекладывали, вещи шевелились пластинами...

Вечерело. Ждали такси.

Мальчик писал на листе бумаги: «Прощай, Москва, на один месяц, вернись!» — и твердо знал, что сдержит обещание...

Грузились в такси, подъехавшее к подъезду, и машина гладко и бодро ехала по вечернему городу, еще не скомпрометированному сегодняшним движением.

Мартемьяновы были уже на вокзале; дядя Валя — один из тех, кто ходил учиться пению к Матовой, провожал своих: тетю Таню, Севку, Светку, и пока размещались в купе, пока выгружали необходимое, все пропитано было таинственным предчувствием чего-то важного, почти сакрального, но ни Саша, ни Севка, стоящие у окна, глядящие на вокзал, не ведали значения этого слова.

Потом плавно начиналось движение.

Мальчишки занимали верхние полки; и сон прерывался порой — краткими остановками, когда фонари и огни засеивали зерна света в купе...

Страна мелькала за окнами, страна, казавшаяся вечной, — ведь пионеру положено верить?

Страна мелькала городами, лесами, мостами, широкими разливами полей, уходящих в небесные пласты, а потом начиналась Анапа...

Она казалась вся состоящей из частных домиков: с цветниками, огородами, палисадниками, беседками.

Низкие тихие улицы, тутовые деревья.

Утренний завтрак в беседке: консервы и колбаса, яичница и хлеб, но это неважно, ибо самое важное впереди...

Опиши море, мальчик...

Мы, дети, мчимся, бежим к нему, огромному, — бесконечная чаша сияний, и улыбается оно нам — даже маленькими крабами, ходящими в мыльной пряже пены; мы кидаемся в сине-зеленое, плавно колышущееся пространство, мы упиваемся нырянием, привкусом йода, солью...

По утрам кентавры приходят на берег, но Кун оставлен в Москве, впрочем, и не особенно нужен уже: ведь несешь его прекрасные дебри в сознании.

— Давай замки строить!

— Давай!

С Севкой дружили.

Набрав в руку влажного песка, выпускали его, и росли они, зыбкие, отекающие, разные замки, росли, казались красивыми...

К двенадцати солнце обретало предельную силу, и шли обедать в столовую.

Подносы надо было двигать к кассе, наполняя их тарелками и стаканами, и двигали, и молочный суп в тарелке мерцал опалово.

Высший пилотаж — плыть и нырять в маске: дно раскрывается по-другому, словно повторяя движение волн, песок идет накатами.

Краб под камнем, державшим буюк, тянет предупреждающе клешни: не трогай...

Ловили кожистых рыб-игл и на берегу, набрав в маску воды, смотрели на них, чтобы выпустить потом...

Вечерами было кино, особенно чудесен кинотеатр без крыши, под открытым небом; и смутные оттенки приключений клубятся в мозгу... индейцы... ковбой...

Хотелось в чужой мир?

Конечно, и особенно хотелось быть таким, как Гойко Митич, чье тело перекипало мускулами.

Еще вечерами ходили с папой вдоль улиц под деревьями, играли в города, и чудесно вспыхивали они — таинственные, словно сияющие своими названиями.

Анапа кончается.

Мальчишка возвращается домой, не обманув Москву, через месяц.

Он вообще старался не обманывать.

...А родители уже не вернутся: ни в Москву, никуда: в привычный на земле обиход...

— Саш, пойдем к Алеше Черемухину...

— Пойдем.

Еще один Алеша из детского сада, но в школы разные пошли.

Алеша жил в композиторском доме, в отдельной квартире, и коридор уже казался бесконечно-таинственным, уходящим в даль больших комнат.

Сидели в одной — рисовали.

Алеша чудесно рисовал машины: точно и остро, не спеша, они должны были сейчас сорваться с листа, понестись, гоночные в основном.

Саша спешил.

Он не умел так тщательно, с тонкой отделкой.

О чем говорили мамы?

Фантазия здесь сослужит плохую службу: незачем прибегать к ней...

Много было реальности, много ячеек заполняется чешуйками мозаики: добрая тетька Галя, у которой иногда оставляли мальчишку, пекла дивные куличи в форме пасхальных агнцев, с изюминками глаз.

Она пекла их на Пасху, и было совершенно непонятно, что это такое, но куличи были вкусны, как интересные старые книги, где плыли корабли с парусами, наполненными ветром, и щекастые младенцы летели вверх.

Фикус вздымался в коридоре.

Семья у тети Гали не было, она жила с мамой — бабой Лидой; квартира была старинная, подоконник растрескался, но рыжие муравьи представлялись интересными, как и все вообще.

Все вообще...

На новой уже квартире жили, куда переехали, когда мальчику исполнилось десять лет; что-то отмечали взрослые: шумно и пьяно, и на балконе, куда выходили курить, а Сашка вертелся между ними, дядя Слава спросил у мамы:

— Ляль, как Галя похоронили?

— Мама, тетя Галя умерла?

— Да, сынок...

Мир застлало слезной пеленою.

Мир потек неправильностью свершенного...

Первое ощущение собственной смерти: после трех дней колошматившего жара багрово-липкая муть застит мозги: где же буду я, когда меня не будет?

И жутко, жутко, безвыходно, безысходно...

Квантовая мера мира, сильно вмещенная в более чем полувековые мозги.

Странно и тяжело.

А было счастливо и легко.

И не представлял мальчик Саша, что будет говорить так:

— Вот первородный бульон, из которого пошла жизнь, что можно считать доказанным. Что напоминает сие? Лабораторию... кого-то огромного, кто сам не знает результата, заворачивая сложный эксперимент. При чем тут любовь? Прелесть якобы высоких понятий в том, что можно говорить о них все что угодно: ни проверить ничего, ни доказать...

Кому он будет говорить это, полуседой, истрепанный жизнью, бесконечной чередой утрат?

Что выиграл мальчик от собственного взросления?

Чаша слез в груди, заменяющая сердце...

А пока все — на старой квартире, в огромной коммуналке, — легко и славно...

Саша ходил в бассейн, располагавшийся в огромном Дворце пионеров, именно дворец: пышный, высокий...

Сквер, предварявший его, был пронзительно красив.

Ходил в бассейн, где синевой сквозила вода, и блики, как солнечные зайчики, перекипали на бортах, и был комический случай, когда принимали...

Спросили: «Умеешь ли плавать?» Ответил гордо, уже бывавший на море не раз: «Да».

Сказали: «Покажи...»

Прыгнул и поплыл, вода отдавала хлоркой, но было приятно рассекать ее, и когда у бортика тренер опустил в воду шест, уцепился за него, и полез, и выкарабкался...

Все смеялись.

Шест был опущен, чтобы помочь с поворотом.

Приняли в секцию, стал ходить, тренироваться, увлекала... вода...

Мама забирала, как правило, папа — реже, а раз — не пришли.

Ждал напрасно и, одевшись, побежал — близко, в общем, было.

Но — улицы казались пустынными, такие необычно недружественные, с большими домами, словно готовые поглотить.

Бежал, слышал стук своих каблуков, бежал, подгоняя себя, и, юркнув в подъезд, ощутил освобождение...

Три года бассейна не сделали пловцом, как студия рисования в том же дворце не превратила в художника.

Но кипенно-белый лист, ложившийся на соответствующую подставку, заворачивал и в сеть линий словно ловил собственные фантазии.

...Девочку звали Наташа Раввинович, она была рыжая, и жила в доме — через двор...

Каменные их миры интересно раскрывались разнообразной стариной, и попытка вспомнить, был ли когда-нибудь у Наташи в гостях, не кончается ничем...

Но — гуляли вместе с мамами по скверу, предварявшему Дворец пионеров, гуляли, и она, набрав пригоршни разноцветной листвы, кидала в тебя и кричала почему-то: «Я твоя весна, я к тебе пришла!»

Хотя осень царствовала, крыла охрой и золотом предложенное пространство, играла последним теплом...

Арфа лучей...

Как сложилась жизнь этой девочки?

Попытки узнать равноценны попыткам вернуться туда, на Каляевскую улицу, а кто такой Каляев, Саша тогда не знал...

Будешь ездить к старому дому, ходить вокруг него, мучительно вглядываться в четыре окна, из которых первые десять лет смотрел на мир, вглядываться, сидя на совершенно другой детской площадке: пестрой, шикарной...

К дому прикасаться, как Антей к земле, будто сил просить...

...В церкви был «Союзмультфильм», и мультики детства оживали пестрою чередой.

В церкви теперь церковь.

Как скучно.

В Политехническом музее была выставка миниатюр, даже мини-миниатюр, когда заходили, видны были одни микроскопы...

Подсаживали своих малышей, подсаживали взрослые, сами замороженно глядящие в глазки, а там — раскрывалось: Чарли Чаплин в ушке иголки, роза в человеческом волосе, шахматы на острие иглы...

Какие миры!

Неужели существуют еще меньшие?

Пробовал представить: атом, электрон, и в каждом — созвездия, своя жизнь, свои мудрецы и храмы, свои Атлантиды и Византии...

Мир бесконечен, мальчик, не бойся!

Помнишь — в том же Политехническом музее рассматривал макет лаборатории Ломоносова, рассматривал так, будто представлял себя уменьшенным, участвующим в таинственных возгонках, которые сулят...

Лес алхимии закрыт, да и Ломоносов не занимался ею.

Но с алхимией жизни сталкиваемся постоянно.

— Подсекай!

Ерш, отливая серебристо и словно распушив шипастый гребень, трепыхнулся в воздухе, и двоюродный брат перехватил его, воскликнув: «Коржавый!»

Сорванный с крючка, плюхнулся в ведро, куда мальчишки отправляли рыбу мелочь для наживки...

Двоюродные братья — и младший, московский, лето проводящий на даче под Калугой, с радостью ездит на рыбалку — на Оку...

Лес двумя массивными, таинственными крылами раскрывается за спиной, поле кукурузы остается позади, и вот берег: крутой спуск, где вырубается лесенка: маленькой лопаткой, а под самой крышей берега чернеют страшными глазами ласточкины гнезда.

Череп Аргуса там спрятан?

Думает книжный московский брат, для которого поездка на рыбалку вдвойне занятна: слишком отличается от обыденной его жизни...

Дядя Гена, где ты теперь?

Помнишь, как был моим крестным отцом в калужской церкви: одной из?

Как ехали утром с дачи, как вибрировало (казалось мне) огромное пустое тело собора, и вдруг — в кадр реальности плавно вплыл твой друг отец Михаил — огромный, чреватый, будто из Лескова изъятый.

...Раскаленное поле моего не физического нутра, смутный страх многих ощущений, непонимание, как можно прийти к силе, запустившей мириады галактик, и все равно — решил креститься под тридцать...

— Бать, — кричит от реки Димка, мой старший двоюродный брат, — мы ведро полное наловили, принимай...

Гена ловил серьезно: четырехколенные удочки протягивались тонко чуть не до середины реки, играя неподвижностью, и вдруг — звяк колокольца, и Гена мчится вниз, по вырубленной лесенке, спешит: необходимо успеть...

Блюдо леща — и рыба будет сопротивляться, и Димка, возможно, подоспеет с подсачником...

У него все хорошо, у Димки, Гена, он устроен в жизни, ты, довольно рано умерший, знаешь...

У него все хорошо, а я...

В воспоминаниях — при определенных жизненных условиях — жить уютнее: вот на стареньком «москвиче» — стареньком, исправно работающем, едем вчетвером через лес: Таня, супруга твоя, тетушка моя — всегда рядом с тобою, и мы с Димкой о чем-то болтаем на заднем сиденье...

Машина едет по дорожке: она логична, ибо дальше откроется деревня, черноватая, но живая еще, живая, все же Союз... который ошибочно кажется незыблемым...

Потом — лесной спуск, крутоватый, и — разъезженная дорога через поля.

Все.

Остановка.

Достаются палатка, складные стулья и стол, коробки с едой, скарбом, рыболовными принадлежностями.

И — начинается мистерия, что длиться будет дня три; зажигается она, вспыхивает роскошью костра, особенно яркого вечером-ночью; а река будет бездвижно течь, чернея нефтью, и роскошь ее равнодушного движения напомнит...

Да нет — ничего она не напомнит восьмилетнему ребенку.

Сейчас напоминает нечто — но что?

Не понять...

Калужские ракурсы яви: любимая ба, любимые дядя Гена и тетя Таня, она мамина младшая сестра, всегда веселая, несмотря на болезни — дитя войны...

Мамин старший брат умер рано, чуть до сорока, и о нем нет воспоминаний никаких, ноль, только догадки.

Так же худо помнится и старый калужский дом: бревенчатый, многокомнатный, с запущенным садом, и только Фред — сеттер дяди Юры, мамино старшего брата, вдруг всплывает в кадр реальности.

Вот Димка говорит: «Послушай, как урчит!»

Наклонялся, толкал его ухом, и тот вдруг, играя, слегка лизнул...

Урчание провалилось.

...В грозу в бабушкиной комнате испуганный ребенок приподнимается на кровати...

— Не бойся, — говорит бабушка. — Иди ко мне.

Молния раздирает пространство, и, словно в магниевой вспышке, проявляются на миг пугающие иконы.

Потом калужане — дядя, тетя, братья — переехали в четырехкомнатную квартиру: брежневский формат жизни был в силе.

Но лучше всего — их дача за Окой, обычная шестисоточная нарезка земли, в случае калужан — двойной участок, второй принадлежит деду, отцу Геннадия, но... все вместе текло, варилось...

В странном костюме, в маске, с дымовухой Гена приступал к сбору меда...

Руки искусаны были, распухали.

Медогонка с погнутыми боками вызывала пышный интерес: рамы вставляли внутрь, ручку вертели, наклоняли бочку и в подставленную банку лентой текла драгоценная, такая вкусная струя.

Пчелы — эти летающие цвета — обиженно жужжали.

Папа не любил калужских родственников: считал их мешанистыми очень, они и были такими — драгоценные и любимые...

Бабушка наклоняется над тобой, первый день каникул сегодня, наклоняется, подоткнув одеяло, спрашивает: «Удобно ли тебе, внучек?»

Ах, как мне было удобно тогда, ба!

Как неудобно в жизни!

— Ты не был на Пятницком? — спрашивает Лешка, старший двоюродный, кавторанг-подводник, тогда живший в Мурманске.

- Не-а...
- Пойдем?
- Конечно...

Идете, пересекая Калугу, покупаете водку, пластиковые стаканчики, закуску... Там лежит дядя Юра, могила довольно запущенна, пламенеют желтые цветы. Тут, на Пятницком, лежит и Матова... Оно тесное, старое, будто непроизвольное соединение оград свидетельствует о людской всеобщности...

Все хорошо — так кажется.

Логично второй к Юре легла бабушка; смерть Геннадия — вызывающе ранняя, также переместила его в траурные пределы.

Тетя Таня не стала жить без Гены: она — рядом с бабушкой и Юрой, и как давно это было, и смерть мамы, разорвавшая сознание внезапно, хотя и была матушка в возрасте, случившаяся недавно, стала апофеозом...

Чего?

Не ответишь, варящийся в пустоте одиночества, хотя по жизни не одинок.

Да, папа считал калужских родственников слишком мещанистами, не любил их.

Мы идем с ним в букинистический, где под толстым стеклом прилавков, будто глубоководные рыбы, мерцают ветхие старинные книжечки...

Отец встретится, посетив магазин и ничего не купив, с таинственным дядькой, который извлечет из портфеля желаемое, и отец, заплатив изрядно, будет рассказывать о книжном дефиците в стране...

Книги, солнечно озарив реальность, привели мальчика к пубертатному кризу: слишком много и рьяно читал.

— Па, Достоевский лабиринтами, так туго закрученными, выводил к свету всегда — вслушайся... Раскольников настолько чист, что убийство привиделось ему... А речь на могиле Илюшеньки? Это ж такая патетика всеединства людского, что дух захватывает.

— Что ты, Саша. Ничего подобного не ощущал. У него все бедные, несчастные, и лабиринты его — живое страдание...

— Вероятно, так нужно, па, иначе не выйти к свету.

— Книги не должны заслонять реальность — понял, мальчик?

Понял — да поздно...

...Ибсен, похожий на летучую мышь, взирает с обложки книги из серии ЖЗЛ на тебя, бессмысленно сидящего за монитором... ради пригоршни строк-воспоминаний.

Сладок ли мед их?

Болгарские елочные игрушки доставали загодя: до покупки елки...

Была дальняя родня в Болгарии, приезжали они иногда, привозили разное, эти игрушки в том числе.

Они были тонкие, страшно брать, и брал осторожно, не побить бы...

Сияющие многоцветные шары, обсыпанные сверкающими блестками.

Фигурки... Конкретика стерлась: игрушек нет давно, все же побились.

А потом — покупали елку: торжественно, священнодействуя, и везли ее на санках, и пружинящие, черноватые лапы распространяли круговые ароматы...

Везли, вносили, устанавливали...

— Осторожно, Саша, вот эту веточку отогнем.

Кололись не больно.

Отгibal, ища, куда бы лучше пристроить богатыря на прищепке — нашего уже, советского производства.

Елка расцветала.  
Ночью казалось — на ней, прячась в игрушках, живут гномы, нужно дождаться только, не засыпать...

И все равно засыпал.  
И листва стран не осыпалась с карты.

Когда начала осыпаться она?  
Может быть — в связи с переездом.  
Все хотели жить в отдельных квартирах, и мама получила в другом районе, в новом кирпичном доме, от ТПП.

Долго собирались, долго, сложно; огромные грузчики, ражие и, вероятно, пьяные, выносили пианино.

Мебель переезжала не вся, но книжный шкаф, буфет и зеркало, принадлежавшие Матовой, были обязательными участниками продолжающегося житья.

Дом — рядом с ВДНХ, где и проживешь всю жизнь, медленно старея, мальчик.

А из того, на Каляевской, ездили часто на выставку: больно нравилась — с вавилонскими павильонами, с пространством, будто прямо уходящим в небеса.

Теперь выставка стала совсем близкой.

Ничего — скоро опять оживут сквозяще-великолепные водные миры фонтанов.

Переезжали долго, болезненно: отец многие книги перевозил сам, частями, опасаясь чего-то...

Переезжали, вживались, и мысль о новой школе щемила сердце.  
Если б не переехали, жизнь сложилась бы лучше.

Уверен? — немо спрашивает ногостая птица, в которую упираешься время от времени, и не клевала пока...

Уверен теперь, не понимая, зачем вырос, сожалея об этом.

Страны осыпались.

Страны, бывшие листьями, осыпались, играя с мальчиком совершенно всерьез.

Переезд был завершен, пеклись по этому поводу торты: и мама, и бабушка, и тетя Таня были ТАКИМИ кулинарками; переезд был завершен, и мальчишки Димка и Сашка, устроившись на югославской кровати и глядя в невинный советский телевизор, поехали наполеон и «Мишку», аж постанывая от удовольствия...

Потом калужане уехали.

Нет соседей, нет огромной кухни, шестой этаж — заменой того первого.

И — новая школа как обнаженная бездна.

...В четвертый класс получилось, как в первый, и целлофан шуршал на гладиолусах так же, но лица все незнакомы были — абсолютно, совершенно.

(Забегая вперед — ни с Алешей Сазановым, ни с Олегом Скороходовым, ни с кем другим из персонажей первой пьесы не встретишься больше никогда.)

Сложно прирастать к новому классу, привыкать к новым учителям, искать алгоритмы; и мама уехала в командировку в Польшу, и бабушка, твоя любимая, Саша, совсем не ладит с отцом.

Бродил, плюнув на домашние задания, осенним сквером, глядел на гнущуюся под ветром траву, на медленно меняющие цвет листья и думал, все думал о странах, которые будут облетать постепенно, обнажая... что?

Так и не понял.

Срослось как-то в новой школе.

Появился Митька, с которым Саша продружит все классы насквозь, а тогда выдумывали игру, где были странные звери-персонажи: курдли, что ли?

Кудлы?

Рисовали их, чертили карту страны, выдумывали географические названия.

Псевдогеографические...

Пунктир жизни наполняется все большими разрывами...

...Папа, папа мой, умерший так рано, был бы ты рад внуку?

Видишь ли — из своего неведомого далека?

Вот веду я, выросший внешне, почти старый Саша, поздний отец, своего мальчишку с карате; он занимается им в той же школе, куда ходит в третий класс, и в коридоре дома мальчишка останавливается у коробки, куда валят рекламный мусор и ненужные газеты, и спрашивает:

— Папа, а сколько лет эта коробка стоит?

— Не знаю, Андрюш! — Нажимаю кнопку лифта, вызывая.

— Десять лет?

— Вряд ли...

— Пять?

— Не знаю, сынок. Это разве интересно.

— Па, — уже едем в лифте, — а если за коробкой последить?

— Ну что это за жизнь, Андрюш, следить за коробкой...

— А она потом с тобой разговаривать будет по-своему, по-коробковски. Или по-коровьи...

Дома пахнет рыбой: жена готовит ужин, используя специи для создания вкусовой симфонии...

...Для мальчика Саши Фихте не представлял особенной ценности, однако — я и не-я — интересовали чрезвычайно...

Где здесь я?

Где здесь другая сущность с приставкой не?

Волны Гомера слоились, завораживая звуком, опровергая Куна, сразу ставшего обветшавшим, в старенькой бахrome; Гомер громыхал, наплывая волнами на бытового и психологического Ибсена, выдвинувшего меру стойкости и твердости Брандта; потом Достоевский всех затмил наслоением усложненных лабиринтов, и Кафка — с грустными чернильными глазами и птичьим носом — вошел, рассказывая переворачивавшие душу истории...

О, сколько их!

Читал томами, собраниями сочинений, сериями; зеленые «Литературные памятники» мешались с синими книжками «Библиотеки поэта», пестрая коллекция МСП отеснялась изящными томиками СЛП...

Школа?

Она грозила угольной чернотой и жалами двоек.

Саша бродил зимой, прогуливая ее, хрустел снегом, покупал булочку за три копейки, долго стоял возле будочки часовщика, заглядывая осторожно, стараясь проникнуть в тайны механизмов, похожих на все сразу, вспоминая...

...Там, в старом доме, на третьем этаже жил дядя Костя-часовщик, и маленький мальчик поднимался к нему, преодолевая высокие ступени лестницы, звонил в дверь, спрашивал: «Мозя?»

Дядя Костя смеялся и пускал мальчишку «пошуровать»: порыться в ящиках с деталями.

Они сверкали колесато, жалили порой пальцы и были такими замечательными...

Потом школьный Саша шел в лесопарк, заснеженный и сонный, блистающий розоватым серебром, шел бесцельно бродить по дорожкам, думая, что жизнь его кончилась, что школу он безнадежно прогулял...

Самоубийство не удалось.

Вотходим на подмосковной станции: мама, я, тетя Валя — медик, нашедшая хорошего психиатра среди своих друзей.

Мы идем к нему.

Корочка наста блестит под фонарями: сладкая, несъедобная глазурь.

Психиатр оказался пожилым, лысым, основательным, курящим «Беломор», а люстра в его комнате напоминала быстро наброшенный на лампочку платок; и комната сама была — книжная берлога, бесконечный лабиринт...

Психиатру-книгочею легко было найти общий язык с маленьким пациентом.

Стояли, обсуждали редкое издание Северянина, говорили о хронологически подобранных книжках советских поэтов.

Сурово глядел Маяковский с портрета...

— Ищите ему среду, — сказал психиатр маме. — Иначе он погибнет.

Не погиб.

Может, и лучше было б?

С поздним мальчишкой Саша, остающийся внутри, душевно жителем детской, мистической Византии, много гулял, бегал, ловил его с горок, водил по всем площадкам, часы мелькали, уходя в безвозвратность, они уходили навсегда, навсегда...

Без конца читал ему на ночь, потом пел — как когда-то пел отец.

Потом уже учил читать.

Сосед — тушистый, вальяжный Ленька, покуривая на лестничной клетке, сказал вышедшему — тоже покурить — Саше:

— Поздравляю. Сейчас быстро полетит. Я думал долго...

У него была взрослая дочь...

Мама сказала (миг — и нет нескольких лет): «Какие-то странные цветы несли в соседнюю квартиру. Надо узнать у Гальки» (мать Лени)...

На другой день: «Саш, Леня умер...»

Пустота, завибрировавшая за стеной, отливала страшным.

Нет, друзьями не были.

И все равно.

Он оказался прав: все замелькало, запестрело, сорвалось с петель.

А ведь был каждый день: круглый, как яблоко, большой, объемный.

Где они?

В тебе, понятно, но ты не такой, не такой — каждый месяц, год, десятилетие...

Саша смотрит, стоя на лоджии, на дождь...

Двор любим: роскошный, тополиный московский двор, и дождь, начавшийся медленно, будто с ленцой, закипает гуще, связывая и соединяя ветви огромных, в рост девятиэтажных домов, деревьев; механизмы дождя обретают тугую силу вращения, это ливень уже, грохочущий и низвергающий ветви, и бой за тело Патрокла, закипающий в недрах тополиной светописи, очевиден, как собственная жизнь.

Нет, не подходит — она как раз вовсе не очевидна: ибо между мальчиком, засыпавшим под картой, юношей, хоронящим отца, поздним отцом, гуляющим с маленьким сыночком, нет ничего общего от кожи до мыслей.

А ливень кипит, становится лиловатым, сгущается — хотя некуда уже.

Он кипит, представляя, чередуя, портреты Византии, Атлантиды, много чего еще...

В такой же ливень въехала электричка, везущая в недрах людской массы Сашу домой из Калуги — провел неделю с бабушкой на даче.

Ливень был такой же; и двое, пьющих белое сухое из горлышка, воспринимались колоритно: примитивный, с плоским и смазанным лицом мужик, из тех, кто произносят это словечко с гордостью, и старик, что-то бляющий невнятно; электричка буквально ворвалась в ливень, убежав от него под покрытие вокзала, а дома ждал отец.

Мама отдыхала в санатории в Прибалтике.

Поговорили, поужинали, все было тихо.

Легли...

Саша, чувствуя непонятное беспокойство, встал, заглянул в комнату, где спал отец; тот маялся, стоял, растирал грудь...

— Сынок, вызови машину...

— Плохо, па?

— Сердце болит...

У него была стенокардия.

Вызвал.

Первая бригада, произведя определенные манипуляции, убыла, вынеся вердикт: для больного стенокардией кардиограмма нормальная.

Вторая бригада констатировала инфаркт, и отца увезли в ночь...

Утром после пробежки Саша пошел искать больницу, думая узнать что и как, но там сообщили: в реанимации.

Дали телефон врача, но звонить было рановато...

Сквер напротив поразил граем ворон.

Саша сел на скамейку и зарыдал, втянутый в бесконечную ленту предчувствия.

О том, что папа умер, позвонили через несколько часов.

...Безграмотная фраза? Исправить?

Горем застигнутый человек не слишком заботится о расстановке слов.

Всем звонил, выяснял, как связаться с мамой — речь о 1987 году, такой связи, как сейчас, не было.

Завертелось колесо предпохоронной суеты.

Новые и новые люди звонили; калужская тетушка, бывшая по делам в Москве, пришла ночевать...

Запомнился похоронный агент: оранжевый галстук сильно контрастировал со строгостью костюма, и поразила огромная простыня услуг, где расписано все было до униженно звучащих деталей, вроде снятия гроба с полки.

...Дворик морга, и августовская листва уже виньетками у стен.

Мы с мамой над гробом, и отец не дышит, не дышит совсем; ведь это первые похороны в моей жизни.

Довольно много людей.

Мама плачет.

В крематории будут речи: вдохновенно дядя Валя Мартемьянов расскажет о пении отца, о бархатном его баритоне, о коронной Торне...

Где ты, папа?

Вся взрослая жизнь прошла без тебя.

Мы остались с мамой вдвоем, я относительно легко пережил твою смерть: вероятно, сказывались девятнадцать лет...

Да и мама была рядом.

Теперь, когда ее нет, я словно на тоненьком волоске повис над бездной.

...В подростковые годы в реальность вошел «Иллюзион» — один из немногих кинотеатров, где можно было посмотреть западные фильмы.

Папа переплачивал за билеты...

Потом Саша, немножко разобравшись в спекулятивном тогдашнем механизме, сам будет покупать билеты...

Таинственная яма зала, лекция перед фильмом — иногда весьма питательная; и — действие, завораживающее порой.

Входи в эти улицы, которые не увидишь в реальности, растворяйся в чужом антураже, если не хватает своего.

А выходил, бывало, с мокрым от слез лицом.

Когда появилось ощущение: мол, не укорениться во взрослой жизни?

...Совсем маленький, отведенный в детский сад, вдруг обманутый: сказала мама — просто посмотрим; совсем маленький, ползущий с ревом по пестрому ковру, преодолевающий частокол взрослых ног...

Бабушка сказала тогда: «Пусть еще год дома посидит. Я у вас жить буду...»

Потом родители дружили с Ниной Анатольевной — воспитательницей, дружили долго, мама общалась с нею до последних лет, когда та, одинокая, перестала уже отвечать на телефонные звонки.

Вдруг вспомнишь ее, вечно путающий «я» и «не-я», входящую в квартиру, где зеркало занавешено, где сейчас будут поминки по отцу, которого никогда больше не будет.

Резко бьет в тишине в сознание: никогда!

Резко, страшно...

Никогда не услышать «сынок» в свой адрес от мамы, никогда не поспорить с папой о Достоевском, никогда не искупать годовалого своего, белого, как зефиринка, сыночка...

...Девочка Маша из соседнего дома бежала, раскинув руки: «Гражданин Андрюша!» Мальчишка, еще плохо говоривший, Маша старше на пять лет, мчался к ней...

Снежинки особенно ярко мерцали, попадая в световую сферу влияния фонарей...

Зимние игры — вплоть до ангела: надо лечь на засыпанную снегом площадку и водить руками, пока не получится некий гибрид бабочки и ангела — как встанешь...

Обменялись телефонами с Машей, стал перезваниваться с ней, договариваться о встречах, и когда весна разоружила зиму, отправились в путешествия: по ВДНХ, где площадки были особенно оригинальными, по дворам разным...

Маша выдавала о себе информацию... из Новосибирска... здесь живет с мамой... отличница... занимается танцами...

Весна входила в силу, площадки расцветали детьми.

Прогулки стали ежедневными, дети совсем сроднились, и когда Маша сообщила, что в начале лета уедет, малыш приуныл.

Да и пожилому Саше стало скучновато...

Летом гуляли вдвоем: мальчишка еще не дружил с ровесниками, ждал Машу.

Были на даче они — мальчишка и жена Саши, а Саша гулял с мамой, как в детстве почти.

Голосок раздался:

— Здравствуйте!

Тихий, тонкий...

Саша, о чем-то заболтавшийся с мамой, глянул вниз: Маша!

— Ой, когда вернулась? Мы тебя так ждем!

Она странной была, точно опаленной чем-то...

— У меня мама умерла...

— Машенька! — воскликнула мама. — Пойдем к нам, накормим тебя, мультики посмотришь.

Маша пошла.

Саша писал жене, слал смс...

Жена — всегда активная — быстро выяснила: в Москве Маша с отцом, оформляющим документы, забирающим ее в Новосибирск, мама погибла под мотоциклом: возвращалась с корпоративной вечеринки, выпила, вероятно, чуть, решила срезать угол...

На другой день приехали жена с сыном, с Машей встречали их у метро.

Последние дни не расставались.

Сложность плетения жизненных орнаментов слишком сложна.

...Бурлит квантовая пена: все мы уходим в нее, свершая квантовый переход, меняя частотность.

Эзотерик, к которому обратился Саша, чей внутренний состав после ухода мамы завешен безнадежностью, сказал про тот свет: «Живем, конечно. Просто частотность меняется».

Подвал был достаточно уютен, наполнен разными символами, карты Таро соседствовали с менорой, и сам эзотерик вызывал доверие: плотный, с восточной бородкой...

И денег толком не брал: «Оставьте, сколько сможете...»

Но поле разговора... не верилось, что зацветет цветами успеха.

Пусть...

...Маленький мальчик убежит из-за частокола взрослых ног в детском саду, поскользнувшись рядом с мамой...

Мальчишка, выходящий из школы, уверенно смотрит на отца, почти старого уже Сашу...

...Старая, будто залитая кислотой времен, фотография: трехлетний мальчишка на трехколесном велосипеде, он только что вывел его из большого дома в маленький дворик и тут был снят отцом...

Маргарита Григорьевна — чудесная англичанка, эрудитка, мыслившая столь нестандартно, задалась целью составить список книг, которые необходимо прочитать, и обратилась к Саше, срывавшему, бывало, уроки разговорами о книгах, с тем, чтобы помог.

Энергично вычеркнул Джойса — какой «Улисс» в Советском Союзе?

Его переводят только, но мало кто знает об этом.

Саша дополнял список, что-то убирал, обращался к отцу, корпел — как не корпел над английским.

Листы были развешаны по стенам класса, ребята не заглядывали в них — испещренные классическими именами и названиями листки.

...Везешь синюю коляску с мальчишкой своим спящим по бульвару, поздний отец, столь сложные чувства испытывающий, везешь, перебирая в сознании кадры жизни и ленты слов, и Маргарита идет навстречу — из школы к метро: она раскидывает руки, улыбается, произносит:

— Еще и сын! Поздравляю...

Улыбаешься в ответ...

Плетутся нити разговора.

...Иногда встречался с ней, с Маргаритой, после школы — с единственной учительницей встречался; от нее же узнавал скучную информацию о других учителях: Земцов, колоритный словесник, умер вскоре после распада Союза, логично — не смог выдержать такого потрясения...

...Твой мальчик в школе, Саша.

Помнишь, как нумизматическая страсть охватила класс, перекинулась на другой — все собирали монеты, иностранную мелочь, охали, замороженно глядели на кругляш какого-нибудь Парагвая?

Потом одному из мальчишек родители, ездившие за границу, привезли запечатанный годовой набор монет Сан-Марино, и он, не выдержав, распатронил его, стал меняться...

Привлекали пятьсот лир: с птичками, исполненные в серебре.

Саше помогал собирать отец: ходили в клуб нумизматов, в СССР собиравшийся раз в неделю, и сначала мальчишка ждал в подворотне — из нее шел спуск в подвал; а потом, когда клуб переехал, расположившись в бывшей церкви, отец платил трешник, и Саша был единственным ребенком, бродившим замороженно среди нумизматических сокровищ...

Саше помогал отец — у него было больше всех стран, и он, закрутив сложную интригу, познакомился со старшеклассником, у которого оказалась серебряная пятисотка, и выменял ее, отдав двенадцать африк и америк...

Нумизматика гипнотизирует.

Монеты — каналы связи с историей, географией, культурой...

Твой мальчик в школе, Саша...

Выводи скорее свой трехколесный велосипед, малыш, выводи его, тебя хочет сфотографировать папа, которому еще столько жить, какой так молод...

Выводи велосипед! — впереди вся жизнь.